Триумф глобализма. Конец истории или начало?

Автор:
Фернан Бродель

Триумф глобализма. Конец истории или начало?

Фернан Бродель

Фрэнсис Фукуяма

Философский поединок

Фрэнсис Фукуяма – американский политолог японского происхождения. Он стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек», в которой провозгласил, что торжество глобализма свидетельствует о конечной точке истории человечества, становлении всемирного правительства. Фернан Бродель – французский политолог и историк, один из основоположников мир-системной теории в геополитике. Исследуя феномен глобализма, Бродель обращался к его истокам, показывая эволюцию политики и экономики Запада, приведшую к этому явлению.

В книге представлены взгляды Ф. Фукуямы и Ф. Броделя, (из работ «Конец истории», «Время мира», отдельных статей), на проблемы глобальной цивилизации, «мир-экономики», а также на попытки отдельных государств (Россия, Китай) противопоставить глобализму собственные политико-социальные системы.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Фрэнсис Фукуяма, Фернан Бродель

Триумф глобализма. Конец истории или начало?

© Бродель Ф. (Braudel F.), Фукуяма Ф. (Fukuyama F.), правообладатели, 2019

© Перевод с французского Л.Е.Куббеля, перевод с английского М.Б.Левина, 2019

© ООО «Издательство Родина», 2019

Предисловие

Фрэнсис Фукуяма (родился в 1952 году) – американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения.

Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек», в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой всемирного правительства.

Победа либерального глобализма знаменует собой окончание «исторических» конфликтов между государствами: «Фундаментально невоинственный характер либерального общественного строя очевиден в необычайно мирных отношениях, которые страны с таким строем поддерживают друг с другом.

Либеральные демократии демонстрируют мало недоверия или интереса к господству друг над другом. Они придерживаются одинаковых принципов всеобщего равенства и прав, и поэтому у них нет оснований оспаривать легитимность друг друга». Реальная политика (политика с позиции силы, по определению Фукуямы), соответственно, теряет свое значение. Основным источником взаимодействия между либеральными демократиями останется экономика.

Однако это не означает, что международные конфликты исчезнут раз и навсегда. Дело в том, что во время «триумфального шествия» либеральной демократии мир будет временно поделен на две части: историческую и постисторическую. Последняя будет включать в себя либеральные демократии.

Конфликты между историческими и постисторическими государствами возможны:

«Сохранится высокий и даже все возрастающий уровень насилия на этнической и националистической почве, поскольку эти импульсы не исчерпают себя и в постисторическом мире. Палестинцы и курды, сикхи и тамилы, ирландские католики и валлийцы, армяне и азербайджанцы будут копить и лелеять свои обиды. Из этого следует, что на повестке дня останутся и терроризм, и национально-освободительные войны».

Однако крупных конфликтов между мирами не предвидится, поскольку для этого нужны крупные государства, находящиеся в рамках истории, но они уходят с исторической арены.

Фукуяма полагает, что в большинстве случаев исторический и постисторические миры будут мало взаимодействовать друг с другом и вести почти параллельное существование.

Нефть, иммиграция и вопросы мирового порядка (безопасности) будут возможными точками их соприкосновения.

Взаимоотношения между мирами будет развиваться на основе реалистической политики.

В области внутренней политики Фукуяма выступает активным поборником минимальной роли государства в жизни общества (в особенности в экономике). Излишне сильное правительство, по его мнению, приводит к подавлению гражданского общества, деформации рыночных отношений и даже возникновению «преступных сообществ».

* * *

Фернан Бродель (1902–1985) – французский социолог и историк. Яркий представитель французской школы «Анналов», занимавшейся изучением исторических феноменов в социальных науках. Исследуя особенности капиталистической формации, Бродель стал одним из основоположников мир-системной теории.

Основная идея Ф. Броделя заключается в том, что в мировой истории господствуют определенные экономические регионы мира, своего рода «миры-экономики», имеющие центр притяжения и периферию, которая отстает в своем развитии от центра, но осуществляет его в рамках тенденций, присущих центру. При этом следует учитывать то обстоятельство, что центр и периферия в этом случае представляют различные национальные государства. Если же государство покрывало всю территорию мира-экономики и определяло порядок экономической деятельности на всем своем пространстве, то такое сверхгосударство Ф. Бродель называл «империей». Империя оценивается им как мир-экономика, обладающая целым рядом слабостей и недостатков.

Рассматривая Россию, Ф. Бродель отмечал, что она в XVI–XVII вв. если и оставалась «наполовину замкнутой в себе, то происходило это одновременно с громадностью, которая ее подавляла, от ее еще недостаточного населения, от его умеренного интереса к Западу, от многотрудного и без конца возобновляющегося установления ее внутреннего равновесия, а вовсе не потому, что она будто бы была отрезана от Европы или враждебна обменам».

Вместе с тем он считает, что в это время Россия выбрала для себя скорее Восток, чем Запад. В отличие от Европы, продвижение России на восток рассматривается как фактор слабости. «В русской экспансии все было непрочным и неопределенным. Подвиг поразителен, но окружен хрупкими звеньями. Слабости русского мира-экономики поддаются измерению на севере и на западе в противостоянии странам Запада (это само собой разумеется), но также и юге (от Балкан и Черного моря вплоть до Тихого океана) перед лицом двойного присутствия мусульманского и китайского миров».

Все это определило, по мнению Броделя, главные особенности русского государства, присвоившего себе не только полную власть над всеми слоями населения, но и контроль над важнейшими видами обмена.

Фрэнсис Фукуяма

Мировая либеральная революция

Слабость сильных государств

Век пессимизма

Двадцатое столетие – теперь уже можно говорить о нем в прошедшем времени – превратило нас в глубоких исторических пессимистов.

Пессимизм двадцатого столетия составляет резкий контраст с оптимизмом предыдущего. Хотя девятнадцатый век Европы начинался в судорогах войн и революций, в основном это было столетие мира и беспрецедентного роста материального благосостояния. Для оптимизма были две крепкие основы. Первая – вера, что современная наука улучшит людям жизнь, победив бедность и болезни. Природа, давний противник человека, будет покорена современной технологией и поставлена на службу счастью людей. Вторая – что свободное демократическое правление будет распространяться, захватывая одну страну за другой. «Дух 1776 года», или идеалы Французской революции, сокрушат тиранов, автократов и суеверных попов. Слепое повиновение власти будет заменено разумным самоуправлением, в котором все люди, равные и свободные, будут подчиняться не хозяевам, а себе самим.

В свете широкого наступления цивилизации даже кровавые войны вроде наполеоновских могли интерпретироваться философами как социально прогрессивные по своим результатам, поскольку они породили распространение республиканской формы правления. Множество теорий, серьезных и не слишком, выдвигались для объяснения того, каким образом история человечества составляет логическое целое и почему отклонения и повороты ее могут быть поняты как шаги к добру современной эры. В 1880 году некто Роберт Маккензи мог написать такое:

«История человечества – это летопись прогресса, летопись накопления знания и роста мудрости, постоянное движение от низшего уровня разума и процветания к высшему. Каждое поколение передает следующему унаследованные им сокровища, измененные к лучшему его собственным опытом, обогащенные плодами всех одержанных им побед… Рост благосостояния человека,

избавленный от прихоти своевластных принцев, подлежит теперь благому управлению великих законов Провидения».

В знаменитом одиннадцатом издании Британской энциклопедии, вышедшем в 1910–1911 годах, в статье «Пытки» было сказано следующее: «В том, что касается Европы, вопрос представляет только исторический интерес». В самый канун Первой мировой войны журналист Норман Энджелл выпустил книгу «Великая иллюзия: Изучение отношения между военной мощью и национальной выгодой», в которой утверждал, что свобода торговли сделала территориальные приобретения ненужными и что война стала экономически нецелесообразной.

Своим крайним пессимизмом наше столетие по крайней мере частично обязано той жестокости, с которой реальность разбила эти ранние ожидания. Первая мировая война явилась решающим событием, подорвавшим самоуспокоенность Европы. Конечно, война свергла старый политический порядок, который представляли монархии Германии, Австрии и России, но куда сильнее был ее психологический эффект. Добродетели верности, трудолюбия, бережливости и патриотизма приводили людей на систематическую и бессмысленную бойню для истребления других людей, тем самым дискредитируя весь буржуазный мир, создавший эти ценности. Как объясняет Пауль, молодой герой романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»: «Они [учителя] должны были бы помочь нам, восемнадцатилетним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать посредниками между нами и нашим будущим… Но как только мы увидели первого убитого, это убеждение развеялось в прах».

Ему вторит молодой американец, который во время вьетнамской войны пришел к выводу, что «нашему поколению верить следует больше, чем их поколению». И осознание, что индустриальный прогресс Европы мог быть обращен на службу войне без морального искупления или морального смысла, привело к резкому отвержению всех попыток найти в истории систему или смысл. Так, известный британский историк Х.А.Л. Фишер мог в 1934 году написать: «Люди более мудрые, чем я, и более образованные различали в истории сюжет, ритм, заранее задуманную систему. Эти гармонии от меня скрыты. Я вижу только поток бедствий, следующих одно за другим, как волны».

* * *

Как потом оказалось, Первая мировая война была только предисловием к новым видам зла, которым предстояло вскоре возникнуть. Если современная наука открыла возможность создавать оружие беспрецедентной разрушительной силы, такое как пулемет и бомбардировщик, то современная политика создала государство беспрецедентной власти, для которого придумано было и новое слово – тоталитаризм. Опираясь на действенные полицейские силы, массовые политические партии и радикальные идеологии, стремившиеся взять под контроль все аспекты человеческой жизни, эти государства нового типа рвались к осуществлению проектов колоссального честолюбия – их не устраивало ничего меньше мирового господства. Акты геноцида, осуществленные тоталитарными режимами гитлеровской Германии и сталинской России, не имели прецедентов в мировой истории, и во многих отношениях лишь современность дала им возможность осуществиться.

Конечно, бывали кровавые тирании и до двадцатого столетия, но Гитлер и Сталин поставили на службу злу современную технику и современную политическую организацию. У «традиционных» тиранов не было технической возможности планировать уничтожение целого класса людей, как евреев в Европе или кулаков в Советском Союзе. Эту работу сделали возможной лишь технический прогресс и общественные движения предыдущего столетия. Войны, развязанные этими тоталитарными государствами, также были войнами нового типа, с массовым уничтожением гражданского населения и экономических ресурсов – отсюда и термин «тотальная война». Чтобы защититься от этой угрозы, либеральным демократиям пришлось применить такие военные методы, как бомбежка Дрездена или Хиросимы, которые в более ранние времена были бы названы массовым убийством.

В девятнадцатом веке теории прогресса связывали человеческое зло с отсталостью. Но пусть сталинизм возник в отсталой, полуевропейской стране, известной своим деспотическим режимом, – зато Холокост произошел в стране с отлично развитой промышленной экономикой и одним из самых культурных и образованных народов в мире. Если такое могло произойти в Германии, почему оно не может случиться в любой другой развитой стране? А если экономическое развитие, образование и культура не дают гарантии от такого явления, как нацизм, то в чем же смысл исторического прогресса?

Опыт двадцатого столетия поставил под большой вопрос заявления о прогрессе на основе науки и техники, поскольку способность технического прогресса улучшать людям жизнь неотделима от параллельного морального прогресса

человека. Без этого мощь техники просто будет обращена на цели зла, и человечество станет хуже, чем было прежде. Тотальные войны двадцатого века не были бы возможны, если бы не основные достижения промышленной революции: железо, сталь, двигатель внутреннего сгорания, самолет. А со времен Хиросимы человечество живет под тенью самого страшного научного достижения в истории: ядерного оружия. У фантастического роста экономики, возможность которого создала современная наука, есть и обратная сторона, поскольку этот рост привел к серьезным повреждениям окружающей среды во многих частях света и создал вероятность глобальной экологической катастрофы. Часто утверждают, что глобальная информационная технология и немедленная связь способствуют распространению демократических идеалов, как было в случае освещения CNN на весь мир событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году или последующих революций в Восточной Европе в том же году. Но сама по себе технология связи нейтральна. Реакционные идеи аятоллы Хомейни были ввезены в Иран до революции 1978 года на магнитофонных кассетах, а сами магнитофоны стали доступны населению в результате экономической модернизации, предпринятой шахом. Если бы в тридцатых годах существовали телевидение и спутниковая связь, они бы отлично послужили таким пропагандистам нацизма, как Лени Рифеншталь и Йозеф Геббельс.

* * *

Болезненные события двадцатого века послужили фоном и для глубокого кризиса мысли. Говорить об историческом прогрессе возможно, только если говорящий знает, куда идет человечество. Большинство европейцев девятнадцатого века думали, что прогресс – это движение в сторону демократии. Но в нашем столетии по этому вопросу уже нет консенсуса. Либеральной демократии бросили вызов два главных соперника – фашизм и коммунизм, – предложивших радикально отличные взгляды на хорошее общественное устройство.

В наше время одним из самых явных проявлений пессимизма была почти поголовная вера в то, что жизнеспособная коммунистически тоталитарная альтернатива западной либеральной демократии будет существовать вечно. В семидесятых годах Генри Киссинджер, бывший тогда государственным секретарем, предупреждал своих сограждан: «Сегодня, впервые в нашей истории, мы смотрим в глаза суровой реальности: этот [коммунистический] вызов не исчезнет… Мы должны научиться вести внешнюю политику так, как приходилось вести ее другим государствам много веков: без уклонения и без

передышки… Эти условия не переменятся». Согласно Киссинджеру, утопией было бы пытаться реформировать фундаментальные политические и общественные структуры враждебных держав вроде СССР. Политическая зрелость означает умение принимать мир таким, каков он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть, а это значит, что надо уживаться с брежневским Советским Союзом. И хотя конфликт между коммунизмом и демократией можно приглушить, ни его, ни вероятность апокалипсической войны исключить до конца нельзя.

Взгляды Киссинджера никак не были уникальны. Почти любой профессионал в области изучения политики вообще и внешней политики в частности верил в вечность коммунизма, и его падение во всем мире в конце восьмидесятых было почти абсолютно неожиданным. Эта слепота была не только результатом влияния идеологической догмы на «бесстрастный» взгляд на события. Она охватила людей любой политической окраски – левых, правых, центр, журналистов, ученых, политиков и Востока, и Запада. Корни этой слепоты уходят куда глубже обыкновенной пристрастности, в необычайный исторический пессимизм, порожденный событиями века.

Конечно, верования в легитимность и вечность коммунизма принимали порой причудливые формы в дни «холодной» войны, уходящие в прошлое. Один талантливый исследователь Советского Союза отстаивал мнение, что Советский Союз под правлением Брежнева достиг того, что автор назвал «институциональным плюрализмом», и утверждал: «Создается впечатление, что советское руководство подвело Советский Союз чуть ли не ближе к духу плюралистской модели американских социальных наук, чем подошли сами Соединенные Штаты». Оказывается, советское общество в догорбачевский период не было «инертно и пассивно; оно было обществом участия почти в любом смысле этого слова», и советские граждане «участвовали» в политике в большей пропорции, чем граждане США.

Имеется в виду, что, несмотря на все очевидные проблемы общества, коммунистические правители выработали «общественный договор» со своими народами – до некоторой степени эта точка зрения пародировалась советским анекдотом: «Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят». Эти режимы никогда не были ни продуктивными, ни динамичными, но говорилось, что они правят в определенной степени с общего согласия, потому что обеспечивают безопасность и стабильность. Как писал в 1968 году политолог Сэмюэл Хантингтон:

«В Соединенных Штатах, Великобритании и Советском Союзе формы правления различаются, но во всех трех системах правительство правит. Каждая из этих стран представляет собой политическую общность, где подавляющее большинство народа считает свою политическую систему легитимной. В каждой из них граждане и их лидеры одинаково понимают общественные интересы, традиции и принципы, на которых эта политическая общность строится».

Сам Хантингтон коммунизму не симпатизировал, но считал, будто факты обязывают нас к выводу, что коммунизм сумел за годы своего существования заслужить до некоторой степени одобрение народа.

[Однако] события второй половины двадцатого века пошли в неожиданном направлении. Главным среди сюрпризов, случившихся в недавнем прошлом, был полностью неожиданный крах коммунизма почти по всему миру в конце восьмидесятых. Но такой поворот событий, как бы поразителен он ни был, явился лишь элементом куда более масштабного процесса, развернувшегося после Второй мировой войны. Авторитарные диктатуры всех видов, правые и левые, рушились. В некоторых случаях они освобождали место процветающим и стабильным либеральным демократиям, в других на место авторитаризма приходила нестабильность или иная форма диктатуры. Но вне зависимости от того, возникала или нет либеральная демократия, авторитаризм всех мастей испытывал во всем мире серьезный кризис.

В первую треть двадцатого столетия главной политической новацией явилось создание сильных государств – тоталитарных Германии и России; последние несколько десятилетий показали неимоверную слабость в самом ядре сильных государств. И эта слабость, столь огромная и неожиданная, наводит на мысль, что уроки пессимизма, преподанные историей нашего века, следует переосмыслить с самого начала.

Слабость сильных государств

В ретроспективе мы видим, как было трудно осознать глубину кризиса, в котором диктатуры оказались жертвой ложной веры в способность авторитарных систем вечно поддерживать свое существование, или, говоря более широко, в жизнеспособность сильных государств. Государство

либеральной демократии слабо по определению: охрана сферы прав личности означает резкое ограничение власти государства. Авторитарные режимы, как правые, так и левые, наоборот, используют власть государства для проникновения в частную жизнь и контроля се с различными целями – укрепление военной силы, строительство эгалитарного общественного порядка или осуществление резкого экономического роста. То, что теряется при этом в царстве личной свободы, должно быть обретено на уровне национальных целей.

При последнем анализе выясняется, что ключевой слабостью, которая в конце концов и обрушила эти сильные государства, была неспособность к легитимности – то есть кризис на уровне идей. Легитимность – это не справедливость или право в абсолютном смысле; это относительное понятие, существующее в субъективном восприятии людей. Все режимы, способные к эффективным действиям, должны быть основаны на каком-то принципе легитимности. Не бывает диктатора, который правит исключительно «силой», как часто говорилось, например, о Гитлере. Тиран может силой подчинить себе своих детей, стариков, может быть, свою жену, если он физически сильнее их, но вряд ли он сможет управлять таким образом двумя или тремя людьми, и уж тем более не многомиллионным народом.

Когда мы говорим, что такой диктатор, как Гитлер, «правил силой», мы имеем в виду, что пособники Гитлера, в том числе нацистская партия, гестапо и вермахт, были способны физически запугать превосходящее их население. Но почему эти пособники были верны Гитлеру? Уж точно не из-за его способности их физически напугать: эта верность основывалась на вере в его легитимную власть. Аппарат безопасности тоже может управляться запугиванием, но в какой-то точке системы диктатор должен иметь преданных подчиненных, которые верят в легитимность его власти. То же верно относительно самого испорченного и прожженного босса мафии: он не станет капо, если его «семья» не примет на какой-то основе его «легитимности». Как объяснял Сократ в «Республике» Платона, даже в банде грабителей должен существовать какой-то принцип справедливости, на основании которого можно поделить добычу. Легитимность поэтому является краеугольным камнем даже самой несправедливой и кровожадной диктатуры.

Легитимность диктатора может исходить из многих источников: от персональной верности со стороны лелеемой армии до изощренной идеологии, оправдывающей его право на власть. В нашем столетии наиболее важной систематической попыткой организовать логически цельное, правого

политического толка, не демократическое и не эгалитарное общество был фашизм. Фашизм – это не «универсальное» учение, как либерализм или коммунизм, поскольку он отрицает существование единого человечества или равенства человеческих прав. Фашистский ультранационализм утверждал, что изначальным источником легитимности является раса или нация, конкретнее – право «расы господ», например немцев, править всеми прочими. Сила и воля превозносились над рассудком или равенством и сами по себе считались правом на власть. Нацистское утверждение о немецком расовом превосходстве должно было быть активно доказано в конфликте с другими культурами. Война, следовательно, являлась положением не патологическим, а нормальным.

Фашизм не просуществовал достаточно долго, чтобы заболеть внутренним кризисом, – он был сокрушен вооруженной силой. Гитлер и оставшиеся его приближенные приняли смерть в своем берлинском бункере, веря до конца в правоту нацистского дела и в легитимность власти Гитлера. Впоследствии привлекательность фашизма была подорвана в глазах многих в результате этого поражения. То есть Гитлер основывал свое право на власть на обещании мирового господства, а вместо этого немцы получили ужасающие разрушения и оккупацию расами, которые считались низшими. Фашизм был крайне привлекателен не только для немцев, но и для многих людей во всем мире, когда это были только факельные шествия и бескровные победы, но становился весьма неприглядным, когда внутренне присущий ему милитаризм доводили до логического конца. Фашизм, можно сказать, страдал от внутреннего противоречия: его упор на милитаризм и войну неизбежно вел к гибельному для него конфликту с международным сообществом. В результате он не мог составить серьезной идеологической конкуренции либеральной демократии после конца Второй мировой войны.

* * *

После поражения Гитлера правой альтернативой либеральной демократии осталась только группа устойчивых, но в конечном счете не последовательных военных диктатур. Большая часть этих режимов не ставила себе более амбициозных целей, чем сохранение традиционного общественного устройства, и главной их слабостью был недостаток приемлемой долговременной базы для легитимности.

Никто из них не мог сформулировать для нации, подобно Гитлеру, последовательную доктрину, которая оправдала бы постоянное авторитарное правление. Все они вынуждены были принять принципы демократии и народного суверенитета и утверждать, что их страны – по разным причинам – к демократии пока не готовы: то ли из-за угрозы со стороны коммунизма и терроризма, то ли из-за экономических неурядиц, оставленных в наследство прежним демократическим режимом.

Каждый такой режим объявлял себя переходным, подготавливающим окончательное возвращение демократии.

Крах Советского Союза

Наверное, не должно удивлять, что авторитарные деятели правого толка потеряли власть из-за идеи демократии. Власть в самых сильных государствах правых была на самом деле довольно ограниченной, когда дело касалось экономики или общества в целом. Их лидеры представляли традиционные социальные группы, которые становились в обществе все более маргинальными, и правящие генералы с полковниками обычно бывали лишены идей и интеллекта. Но как обстоит дело с коммунистическими тоталитарными державами, с левыми? Не переопределили ли они значение термина «сильное государство» и не нашли ли формулу вечно самоподдерживающейся власти?

Тоталитаризм – это концепция, созданная на Западе после Второй мировой войны для описания Советского Союза и нацистской Германии, тираний, весьма отличающихся от традиционных авторитаризмов девятнадцатого столетия. Гитлер и Сталин дерзостью своих политических и общественных стремлений придали новый смысл понятию сильного государства. Традиционный деспотизм наподобие существовавшего во франкистской Испании или представленного в виде различных военных диктатур Латинской Америки никогда не стремился раздавить «гражданское общество» – то есть общественную сферу частных интересов, – а хотел лишь контролировать ее. Ни фалангисты Франко, ни перонистское движение в Аргентине не смогли выработать систематической идеологии и лишь вполсилы старались переменить ценности и умонастроения народа.

А тоталитарное государство строится на явно выраженной идеологии, дающей универсальную точку зрения на человеческую жизнь. Тоталитаризм задается целью уничтожить гражданское общество полностью, установить «тотальный» контроль над жизнью своих граждан. С той минуты, как большевики захватили власть в 1917 году, Советское государство систематически преследовало все возможные конкурирующие источники легитимности в российском обществе, включая политические партии, прессу, профсоюзы, частные предприятия и церковь. Хотя до конца тридцатых годов и оставались некоторые институты, носящие эти имена, это были лишь призраки прошлого, организованные режимом и полностью ему подконтрольные. Осталось общество, члены которого были низведены до «атомов», не связанных ни с какими институтами-посредниками, кроме всемогущего правительства.

Тоталитарное государство надеялось переделать советского человека, изменив структуру его верований и ценностей путем контроля над прессой, образованием и пропагандой. Эта цель распространялась на самые личные и интимные связи человека – на семейные. Юный Павлик Морозов, выдавший своих родителей сталинской полиции, много лет выдвигался режимом в качестве примера для каждого ребенка. Говоря словами Михаила Геллера: «Человеческие отношения, составляющие ткань общества – семья, религия, историческая память, язык, – стали мишенью; общество систематически, и методически атомизировалось, близкие личные связи человека искоренялись и заменялись иными, выбранными и утвержденными для него государством».

В романе Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки», вышедшем в 1962 году, приведена иллюстрация тоталитарных надежд. Герои книги – пациенты сумасшедшего дома, живущие инфантильно-бессмысленной жизнью под надзором властной Большой Сестры. Герой романа Мак-Мерфи пытается их освободить, нарушая правила больницы, выводя заключенных-пациентов к свободе. Но в ходе этой попытки он обнаруживает, что среди них нет ни одного, которого держат в больнице против его воли. В конце концов они все от страха перед внешним миром добровольно остаются в стенах больницы под властной защитой Большой Сестры. Это и была конечная цель тоталитаризма; не просто лишить свободы нового советского человека, но заставить его бояться свободы и даже без принуждения признавать свои цепи чем-то благодетельным.

Многие считали, что действенность советского тоталитаризма опиралась на авторитарные традиции русского народа, существовавшие задолго до большевизма. Европейский взгляд на русских, популярный в девятнадцатом

веке, изложил французский путешественник Кюстин, который характеризовал их как народ, «приверженный к рабству, который… всерьез воспринимает только террор и властность».

Западная вера в стабильность советской системы основывалась на вере, сознательной или нет, что русский народ в демократии не заинтересован. В конце концов, советская власть не была в 1917 году навязана русским внешней силой, как было в Восточной Европе после Второй мировой войны, и она просуществовала после большевистской революции лет шестьдесят – семьдесят, выдержав голод, беспорядки и вторжение. Это наводило на мысль, что система завоевала себе некоторую легитимность в широких массах и уж точно в правящей элите, поскольку отражала естественную склонность общества к авторитаризму. И западные комментаторы, которое вполне были готовы поверить, что польский народ желал бы сбросить коммунизм, если представится шанс, русскому народу в такой вере отказывали. Иными словами, они считали, что русские – пациенты сумасшедшего дома, которых удерживают не решетки и смирительные рубашки, а собственная тяга к безопасности, порядку, власти и еще некоторым благам, которые советский режим им бросал, – например, имперское величие и статус сверхдержавы. Советское государство выглядело очень сильным, и нигде так сильно, как в глобальном стратегическом соревновании с Соединенными Штатами.

Считалось, что тоталитарное государство может не только вечно длить свое существование, но и размножаться по всему миру, реплицируя себя как вирус. Когда коммунизм был занесен в Восточную Германию, на Кубу, во Вьетнам, в Эфиопию – он всюду появлялся снабженный авангардной партией, централизованными министерствами, полицейским аппаратом и идеологией, охватывающей все стороны жизни. И эти институты действовали независимо от национальных или культурных традиций рассматриваемых стран.

* * *

И что же случилось с этим вечным двигателем механизма власти?

В год 1989-й, двухсотлетнюю годовщину Великой Французской революции и ратификации конституции США, решительный крах коммунизма стал фактором мировой истории. Каким же образом прежние ожидания нас обманули и какие невероятные слабости СССР открылись нам с началом перестройки?

Самой основной слабостью, серьезность которой ускользнула от внимания западных комментаторов, была экономика. Экономические провалы очень болезненно воспринимались в советской системе, поскольку сам режим свою претензию на легитимность основывал на том, что может обеспечить своему народу высокий материальный уровень жизни. Как ни трудно сейчас это вспомнить, но экономический рост фактически рассматривался как сила Советского государства до начала семидесятых: с 1928 по 1955 год ВНП Советского Союза рос темпами от 4,4 до 6,3 % в год и вырос наполовину так же быстро, как рос ВНП США в последующие два десятилетия, так что угроза Хрущева догнать и похоронить Соединенные Штаты казалась вполне реальной.

Но с середины семидесятых годов этот темп замедлился до цифр, равных, по оценке ЦРУ, от 2,0 до 2,3 % в год между 1975–1985 гг. Есть все более ясные свидетельства, что эти цифры серьезно переоценивали рост, не учитывая скрытую инфляцию; многие советские экономисты – сторонники реформ – утверждали, что рост в этот период был от 0,6 до 1,0 % процента в год, если не нулевой. Отсутствие роста ВНП в сочетании с расходами на оборону, ежегодно росшими в начале восьмидесятых на 2–3 % в год, означало, что мирная экономика фактически сокращалась заметными темпами десять лет, предшествовавших приходу к власти Горбачева. Всякий, кому случалось останавливаться в советской гостинице, делать покупки в советском магазине или ездить в советские деревни, где видна была самая настоящая нищета, должен был понять, что в советской экономике имеются весьма серьезные проблемы, не отраженные полностью в официальной статистике.

Важен был способ интерпретации этого экономического кризиса. К концу восьмидесятых годов в советской экономической элите произошла примечательная интеллектуальная революция. Старая гвардия брежневских дней за три-четыре года сменилась горбачевской волной реформистов, таких как Абель Аганбегян, Николай Петраков, Станислав Шаталин, Олег Богомолов, Леонид Абалкин, Григорий Явлинский и Николай Шмелев. Все эти люди понимали – хотя иногда и не до конца, – базовые принципы либеральной экономической теории и были убеждены, что централизованная советская административно-командная система является коренной причиной упадка экономики СССР.

Однако было бы ошибкой интерпретировать последующие события перестройки всего лишь в терминах экономических императивов. Как указывал сам Горбачев, в 1985 году Советский Союз не был в кризисной ситуации, но лишь в

«предкризисной». Другие государства переживали куда более серьезные экономические непогоды. Например, в США во время Великой депрессии реальный ВНП страны упал почти на треть, но это не привело к дискредитации американской системы. Серьезная слабость советской экономики иногда признавалась, и запускались разнообразные традиционные реформы, которые должны были остановить спад.

Так что для понимания истинных слабостей советского государства экономические проблемы следует рассматривать в контексте куда более масштабного кризиса – кризиса легитимности всей системы в целом. Экономический провал – это был лишь один из многих провалов советской системы, которые спровоцировали отказ от системы верований и обнажили слабость самой структуры. Главным поражением тоталитаризма оказалась неспособность управлять мыслями. Советские граждане, как выяснилось, все это время сохраняли способность мыслить самостоятельно. Многие понимали, несмотря на годы пропаганды, что их правительство им лжет. Люди помнили зло за личные страдания, перенесенные при сталинизме. Практически в каждой семье погиб кто-то из родственников или друзей при коллективизации, в Большой террор тридцатых годов, на войне, которая обошлась гораздо дороже из-за внешнеполитических ошибок Сталина. Люди знали, что жертвы были осуждены несправедливо и что советский режим так и не принял на себя ответственность за эти страшные преступления.

Люди понимали и то, что в якобы бесклассовом обществе возник новый класс – класс партийных функционеров, столь же коррумпированный и привилегированный, как любой правящий класс старого режима, но куда более лицемерный.

* * *

Массовое разочарование в системе верований, лежащих в основе Советского Союза, не могло случиться за один день, и это заставляет предположить, что тоталитаризм как система рухнул намного раньше восьмидесятых годов. И, конечно, начало конца тоталитаризма можно было бы проследить вплоть до периода, последовавшего за смертью Сталина в 1953 году, когда режим перестал использовать террор без разбора.

После так называемого «секретного доклада» Хрущева в 1956 году и закрытия сталинского ГУЛАГа режим не мог более в проведении своей политики полагаться только на силу и должен был все сильнее прибегать к умасливанию, кооптации и подкупу, чтобы привлечь народ к своим целям. Этот отход от террора в чистом виде был в некотором смысле неизбежен, потому что в сталинской системе ни один руководитель не мог чувствовать себя в безопасности – ни даже главы сталинской полиции Ежов или Берия, которые оба были казнены, ни министр иностранных дел Молотов, у которого жену отправили в лагеря, ни его преемник Хрущев, который живо описывал, как один косой взгляд Сталина заставлял члена Политбюро дрожать за свою жизнь, ни даже сам Сталин, все время опасавшийся заговоров. Демонтаж системы террора, столь смертоносной для ее функционеров, стал поэтому почти неизбежен, как только смерть Сталина дала высшему руководству такую возможность.

Решение советского режима перестать убивать людей без разбора немедленно сдвинуло баланс власти между государством и обществом в пользу последнего и означало, что с этой минуты советское государство уже не контролирует все без исключения стороны жизни советских людей. Потребительский спрос, или черный рынок, или местная политическая машина уже не могли быть просто раздавлены или использованы. До Горбачева целых 20 % советского ВНП производилось на черном рынке или проходило через него полностью вне контроля планирующего центра.

Примером ослабления контроля центра было возникновение различных «мафий» в национальных республиках СССР в шестидесятых – семидесятых годах, таких как «хлопковая мафия», процветавшая в Узбекистане под предводительством первого секретаря коммунистической партии Узбекистана Рашидова. Защищенный личными отношениями с советским президентом Брежневым, его дочерью Галиной и ее мужем Чурбановым (высоким полицейским чиновником в Москве), Рашидов годами мог править коррумпированной бюрократической империей. Эта группа чиновников подделывала документы о производстве хлопка в республике, переводила огромные средства на личные банковские счета и правила местной партийной организацией практически без контроля Москвы. В этот же период процветали мафии всех сортов во всем советском обществе, главным образом в национальных республиках, но также и в таких городах, как Москва и Ленинград.

Такую систему уже нельзя назвать тоталитарной; но это и не форма авторитаризма вроде диктатур Латинской Америки. Наверное, лучший термин для характеристики Советского Союза и Восточной Европы брежневского периода нашел Вацлав Гавел, назвавший эти режимы «посттоталитарными», указывая, что это уже не кровавые полицейские государства тридцатых – сороковых годов, но живут они под тенью прежней тоталитарной практики. Тоталитаризм не сумел убить в этих обществах демократические идеи, но его наследие мешало обществу перейти к демократии.

Существует довод, что пусть даже коммунизм умер, он быстро сменяется нетерпимым и агрессивным национализмом. Преждевременно еще праздновать кончину сильного государства, поскольку там, где коммунистический тоталитаризм не выжил, он попросту сменился националистическим авторитаризмом или даже фашизмом русской или сербской разновидности. В этой части света в ближайшем будущем не будет ни мира, ни демократии, и, согласно данной точке зрения, она будет представлять для существующих западных демократий такую же опасность, как и Советский Союз.

Но не следует удивляться, что не все бывшие коммунистические страны совершают быстрый и безболезненный переход к стабильной демократии. Напротив, удивительно было бы, если бы так случилось. Чтобы возникла стабильная демократия, необходимо преодолеть колоссальные препятствия. Например, старый Советский Союз просто был неспособен к демократизации. СССР с той степенью свободы, чтобы его можно было считать настоящей демократией, немедленно развалился бы по национальным и этническим границам, распался на меньшие государства. Это, конечно, не значит, что отдельные части СССР, в том числе Российская Федерация или Украина, не могут демократизироваться. Но процессу демократизации должен предшествовать болезненный процесс национального размежевания, такой, который не всегда происходит быстро и бескровно.

Мировая либеральная революция

Коммунистические левые, и авторитарные правые оказались банкротами. У них нет серьезных идей, способных поддержать внутреннюю политическую спаянность сильных правительств, основанных на «монолитных» партиях, или на

военных хунтах, или на личных диктатурах. Отсутствие легитимности у власти – это значит, что когда режим терпит неудачу в какой-то области политики, у него нет более высокого принципа, к которому можно было бы воззвать. Некоторые сравнивают легитимность с резервным денежным фондом: у всех правительств, демократических и авторитарных, бывают свои прибыли и убытки, но только легитимное правительство имеет фонд, из которого можно взять средства во время кризиса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/brodel-_fernan/triumf-globalizma-konec-istorii-ili-nachalo

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить